

Крошечная головка затейливо свернута набок. Тонкие, как проволока, лапки скрещены и впечатаны в почерневшее от копоти брюшко. И без того куций хвост лишился своей длины, и вместо перьев к спинке прилипла обуглившаяся веточка травы. Тельце давно остыло, выцвело, но в этом комочке омертвелой плоти все еще угадывалась птица. То ли воробей, то ли синица.

* * *

Их клонило в сон. В иные часы становилось дурно, голова раздувалась и к вискам подкатывала горячая, баюкающая боль. Ноги-руки тяжелели, неме-ли, а в груди словно ворочался еж.

Но чаще всего просто хотелось спать.

Ничего ведь не случится, если они немного поспят? Завтра она уедет и не увидит его до весны, точнее, до апреля. А в конце апреля (скорей бы!) они уже будут мужем и женой, официально и навсегда. Всего-то два месяца. Ерунда! Она ждала и дольше.

А сейчас – спать, спать, спать... Тело как не родное, сердце сбивается с ритма, а то и вовсе замирает, подташнивает, но это ничего. Пройдет. Аспирин на пару с корвалолом подействует, и скоро, она верит, отпустит. Поспать бы только... Сладко, мирно, чувствуя его раскаленное, упругое плечо и слыша громкое, беспокойное биение сердца.

Погружаясь в жаркий дурман, она провела ногтем по ровному, коричневому пятнышку – похожей на лепесток кислицы родинке, – чуть ниже левой ключицы. Она трогала ее и целовала много-много раз. Счастливых раз.

«Как вкусно пахнет медом...» Веки набухли, налились и наконец сомкнулись. Мир спрятался. Аня спала.

* * *

На базаре тетка со смешным кавказским акцентом так им и сказала: «Спелые, сладкие, сплошной сок, пробуй, батано. Красавицу свою угости». Боба подмигнул дородной, черной от ультрафиолета тортовке и сунул горчичную, с красной боковиной абрикосину Ане прямо в рот. Желтая жижица, взорвавшись, растеклась по подбородку. Секунда – и вязкая клякса приземлилась на загорелом треугольнике, прямо в ложбинке, прятанной крестик. Абрикосы действительно оказались сочными и густо пахли медом. Чистый афродизиак!

Аня смутилась и счастливо засмеялась, но тут же вскинулась и замахала руками.

– Оса, Боба, оса! Ай-ай-ай! Гони ее!

Боба, хохоча, отмахнулся, крепко обнял девушку за плечи, развернул, вынул носовой платок и аккуратно вытер янтарную нежину.

Конструировал и стругал различную домашнюю утварь: полочки, этажерки, тумбочки, даже умывальники и светильники выходили у него необычными, диковинными и, как любил он повторять, «экологически честными»; помимо этого сам придумывал дизайны и собственными руками изготавливал крупную мебель, но творил долго и в малых количествах.

– Боба, ты чего? Я сама. Люди вокруг.
– Аннэ, птица моя, ты здесь, со мной, нету никаких людей. Только ты! Ты што, нэ понимаэш? – По-русски Боба изъяснялся забавно: растягивал слова, запинаясь, экал, путал ударения и глотал окончания. Особенно трудно ему давался звук «эф». Аня долго хохотала, услышав, как прошлым летом, оформляя ее в гостиницу и заполняя графу «Гражданство», он громко и с придыханием произнес «русэтиш пэдэрация».

– Пэдэрация, значит? Какое, какое у меня гражданство? – передразнивала она потом.

Боба даже обиделся.

Они познакомились год назад. Бобу в то лето отрядили провожать престарелую сколькотоюродную бабушку из Тбилиси, где она гостила у сына, обратно, домой, в Москву. Бабка была в годах, но резвая, добрая и при деньгах. Боба прилетел в Москву всего на пару дней, но окунулся в водоворот столичной жизни, неожиданных дней рождений, винных и, как водится у грузин, многодневных вечеринок, родственных чаепитий, где подавали, как правило, не чай, а свежесваренный терпкий кофе. Так и приглашали: «На кофий». Ежедневные встречи со знакомы-

ми и не очень, оседлыми и командированными соотечественниками не прекращались, и загостился он, сам того не замечая, почти на месяц.

Аня в те же дни приехала из Питера навестить в больнице единственную родную тетку. С так и не обретшей собственную семью сестрой с детства очень дружна была мама, да и саму Аню родственница не раз выручала то деньгами, то связями. Анина мама, Галина Викторовна, в то лето укатила в деревню, под Кемерово, где после долгих лет платных и бесплатных объявлений нашелся наконец покупатель на огромный, всеми заброшенный, уже покосившийся и изъеденный шершнями деревенский дом. Родовое гнездо передавалось по наследству аж со времен революционного передела, но так никому в последние десятилетия и не пригодилось.

Тетка лежала в Первой Градской. Туда же волею судеб заташили и Бобу проводить престарелого, но уважаемого в местной диаспоре ресторатора. Молодежь шла по больничному коридору сплоченно, шумно, цокая каблуками, как умеют только кавказцы. Проводили. Застолье даже не скрывали. «Врач сказал – никакого вина! Нельзя ему», – пыталась увещевать гостей жена больного, миниатюрная, робкая женщина. Куда там! Домашнее вино через час было выпито. Курево иссякло через два. Тут Боба и вызвался сгонять за сигаретами.

Высокая, тяжелая створка больничной двери больно ударила Аню по лбу, и она отскочила, уронив сумку с гостинцами на пол. Румяные яблоки разбежались по углам и запрыгали вниз по ступенькам.

– Ой, боже ж мой, я не зашиб тебя?

Тогда Аню поразили две вещи – Бобины глаза и это вот старушечье «боже ж мой». Смешно так сказал и сложил перед собой руки замочком.

Боба в общепринятом смысле на грузина похож не был. Выглядел он в свои тридцать девять совсем молодо. Высок, поджар, почти худ, но крепок в плечах, кожа бледная и совсем гладкая, без присущей кавказцам бурной растительности. На круглом лице выделялся не нос («орлиность» отсутствовала вообще), а крупные, по-женски четко очерченные губы, да еще подступающий к скулам без всякого повода румянец.

Глаза же были чрезмерно большими, пронзительными, то с задорными искорками, то с манящей поволокой, цвета юного василька, иногда переходящего в лазурь, а на закате отливали глубокой синевой.

Аня заметила, как на его руках аппетитно напряглись и заиграли мышцы, вздулись вены, когда он хватился поднимать рассыпавшиеся повсюду плоды.

Свечи на столе дрожали, и гордые птицы оживали, а их пуговичные глаза, украшенные изумрудно-голубыми пайетками, искрились и жалобно переливались. Казалось, нежные создания трепещут от холода, и Ане сразу же хотелось их обнять и согреть.

режут, мобильный четыре дня как отключен! Ты с бабой кувыркайся, но о родных-то не забывай!

– Ну, ты... Встретимся, прибью! Какая она тебе баба? Жена моя будущая. Мы жениться решили! А телефон выключил, чтобы вы все не мешали.

– Жениться, говоришь? А мать знает?

– Узнает. Я кольцо Ане подарил. Весной и свадьбу сыграем! Поздравить, а не ругать надо, кацо!

– Я те так поздравлю, когда увижу! У матери давление поднялось. Лежит, все твердит: «Бобочка, мой Бобочка...» Галину Викторовну переполошили. Меня жена из дома, сказала, выгонит. За ночные прогулы. К тебе приду жить, чтоб тебя!

– Ну, извини, брат. Понимаешь, у нас впервые так. Как в раю.

– Ты раем-то не прикрывайся! Мы уж думали, случилось что.

– Любовь у нас, понимаешь, любовь! А ну вас к черту! Все, отбой, генацвале!

Аня улыбалась. Мокрая после душа, она как есть, голышом, с накинутым на плечи банным полотенцем выскочила на балкон. Солнце жарило и упрямо, дольше обычного держалось в зените, словно за два предыдущих дождливых дня наверстывало упущенное. Вдали, из-за дымчатого горизонта волнообразного Кавказского хребта, выпирала гора, пушистая, покрытая с западной стороны могучим частоколом изумрудных елей. Восточной ее части видно не было, но Боба рассказывал, что там хоронилось труднодоступное ущелье с ледяным водопа-

дом, уносящим свои беспокойные воды вглубь расщелин и выплескивающим нутро в верткую, в любое время года холодную речку. Чуть ниже ельника, на пожелтевшем склоне – пастбище, отара почему-то темно-желтых, а не белых, как она всегда думала, овец. «Грязные они, что ли».

Дом, который Боба снял в Лагодехи, оказался маленьким, но уютным. Двухэтажный коттедж легкой и бесхитростной архитектуры – первый этаж из светлого базальтового камня, второй из белого кирпича, – приютился на отшибе, совсем близко к городскому парку, плотно заросшему кривыми дубами и развесистыми голостволыми грабами. Вымытый до блеска, уложенный плиткой двор по периметру аккуратно усажен молодым кизильником, внутри – живая двухметровая изгородь из мускатного винограда, где в шелковых листьях с утра до вечера гудели пчелы и прятались неизвестные Ане красноголовые крохотные птицы. В сердце этого с любовью обустроенного патио – белоснежный тент, укрывающий лапами от назойливого горного солнца круглый, белого камня обеденный стол с толпящимися вокруг ажурными стульями цвета слоновой кости. Место – беззвучное, буколическое, медленное. Здесь хотелось задержать дыхание.

Когда солнце наконец садилось, а горные склоны брали в плен плотные малиновые тени, в низине становилось холодно, чугунные стулья моментально остывали, и Боба приносил из гостиной охапку парчовых подушек с вышитыми золотом павлинами. Свечи на столе дрожали, и гордые птицы оживали, а их пуговичные глаза, украшенные изумрудно-голубыми пайетками, искрились и жалобно переливались. Казалось, нежные создания трепещут от холода, и Ане сразу же хотелось их обнять и согреть.

Так влюбленные коротали вечера. Пили терпкое вино, закусывая сыром и не созревшим пока виноградом, слушали засыпающий, но все еще переполненный звуками лес, целовались, касались, шептали всякое. В спальню не торопились. То – другое, а в этой вечерней, уютной, домашней возне Аня чувствовала настоящую, ничем не омраченную, волнующую близость. Девушка помнила каждый вечер.

Впереди был еще один, последний...

Под махрой жарко. Солнце не щадит. Глаза слепнут от яркого света. «Это просто чудо! Все бело-зеленое. Самое подходящее для любви сочетание», – с нежностью подумала Аня. Прошлую ночь они почти не спали. Сердце тут же заторопилось, а в унисон ему заухала откуда-то сверху неведомая, пролетающая мимо птица. Аня улыбнулась. Глупо улыбаться самой себе, но не сдержалась.

Прошло всего четыре дня, а столько всего произошло. Как об этом сказать матери?

* * *

В первый раз они приехали в Грузию втроем – Аня с Галиной Викторовной и Анина близкая подруга, Нинка, которую позвала для отвода глаз, «чтобы мать не скучала и ничего не заподозрила», о чем Аня честно призналась Нине накануне. Та была поездке рада, но Аню отругала.

– Ты что? Не понимаешь, с кем связалась? Наши козлы еще те (козлами она называла всех мужиков без исключения), а те так вообще... Это же южный народ! Ни одной юбки не пропустят. У них каждое лето новая жена. И потом – ему вот-вот стукнет сорок, а это у них, сама знаешь, как переходный возраст, пубертат. Не терпится – ищи мужа тут, на родине.

– Какого мужа, Нин? – чуть не плакала Аня. – Рано об этом. И потом – Боба другой, он добрый, хороший, заботливый.

– Другой, как же! Нашел дуру питерскую. Ну ладно. Даже если другой, а дальше – то что?

– А что дальше?

Аня о «дальше» вообще не думала. Если бы ей прежде кто-нибудь из подруг рассказал подобную историю и пришел за советом, она отреагировала бы точно так же. Возмутилась. Пустилась бы в странное, отрезвляющее морализаторство, «включила» бы на полную здравость и логику, приплела бы сюда избитые киношные и книжные сюжеты. И тоже посоветовала бы сначала думать, а потом действовать. Как же по-другому? Бабам о таком думать надо сразу. Но то другие, а то она. Даже не так. Другие и какие-то там чужие грузины, а то – она и знакомый, родной Боба. Их чувства, их реальность. Разрешенное счастье – самое беспечное.

С другой стороны, думать все равно придется. Можно сколько угодно верить в любовь и даже вопреки всему не ошибиться в ней, но когда дойдет до дела, как матери сказать? Аня знала, что та ни за что на грузина не согласится. Да если только узнает, для чего Аня в Грузию мотается, сразу с катушек слетит.

Годы не шли, бежали, а Галина Викторовна так и не смирилась с тем, что стало с ее братом и подругой. Не перебродила ненависть, не ушла грусть, не притупилась боль. Аня видела это. По тому, как стекленели и мутнели материны глаза, когда впивались в фотографии так и не повзрослевшего брата, по тому, как дрожал голос, когда она в оче-

редной раз по телефону успокаивала подругу или посреди ночи неслась к ней на такси, отмахивая километры по окрестной (мосты-то разведены), или готовила пирожки с бульонами для вновь обретенной больницы имени Скворцова-Степанова пациентки. Аня знала – мать эти истории в себе годами носит, вымучивает.

Даже если остынет, поймет, примет, даст добро, то как ей самой на такой шаг решиться? Как в той чужой стране жить? Взять и уехать? Семью оставить, работу, друзей? А если наоборот, Боба сюда? Аня была уверена, любимый просто так на переезд не согласится. У этих народов сердце к историческому дому гвоздями приколочено. Да и мать не оставит. Любящий сын.

– Нин, ну что ты взъелась? Просто помоги мне, а?

– Ладно уж, но я тебя предупредила, – сдалась наконец подруга.

Еще с неделю Аня уговаривала мать – та ехать в Грузию не хотела. Аня старалась как могла, но действовала осторожно, боясь показаться чересчур заинтересованной. Умело завлекала древностью, дивной природой, богатой историей, паломническими местами, конечно, ничего не упоминая о Бобе. Про влюбленность свою она маме рассказать так запросто не могла. Решила промолчать. Да пока и говорить, по большому счету, было нечего.

История нелюбви Галины Викторовны к «лицам кавказской национальности» имела два начала, но один конец. И именно грузин она на дух не переносила. Десять лет прошло, как под обстрелом в Цхинвали, от руки «обезумевшего грузинского пехотинца» (так было написано в рапорте) погиб ее младший брат, бывший в составе той самой тактической, наступательной группы Пятьдесят восьмой армии. Сострадательные однополчане рассказывали, как грузинский солдат что-то кричал Антону, то по-грузински, то русским матом, а потом выстрелил в упор. Пуля прошла навывлет, не задев сердце, но Антошу не спасли. Врачи так и сказали: «Не успели, потеряли по пути, скончался от потери крови». Потеря от потери... О горячей точке в семье узнали постфактум, когда свояченицу вызвали опознавать серое и помятое с одного боку тело. Видно, как уложили второпях, так и везли. Антона похоронили с почестями, но злость и горечь в семье остались.

А двумя десятками лет раньше ближайшая подруга Галины Викторовны «попалась в руки» заезжему «гастролеру», приняла его, прижила, прикормила, родила дочь и сына, и только потом узнала, что у гражданского мужа в Кутаиси проживают и здрав-

ствуют законная жена и трое детей, последнему из которых было столько же лет, сколько и ее маленькому Димке. Супруга любвеобильного Гоги, грудастая, квадратная, с махровой бородавкой на переносице, укомплектованная с ног до головы золотыми побрякушками, лично прибыла в Питер и пригрозила расправой «подлой полюбовнице». Угрозы были нешуточными – вместе с ней в квартиру ввалилось человек десять чернявых молодцев той же национальности и отнюдь не мирного настроения. Подруге недвусмысленно дали понять, что случится с ней и ее «выродками», попытайся она покачать права. Как оказалось, там, на родине у отца Гоги, была довольно серьезная бойцовая репутация. Псевдосвекр приبلудных жен не жалел.

Перепуганная до смерти, ничего не понимающая женщина, заперев детей в кладовке и наказав молчать, чтобы ни случилось, тут же открестилась и отказалась от всего, включая самого Гогу. «Пока поверим на слово, но помни, сука, за тобой следят. И чтоб ментуре ни гугу!» Вечером подругу хватил удар. Отправив перекошенную, еле откачанную женщину на скорой, Галина Викторовна по-быстрому собрала вещи дрожащих, молчаливых детей и увезла к себе, на попечение Ани, в то время еще школьницы, а сама круглыми сутками дежурила в больнице. Подругу спустя месяц выписали, но у той с тех пор начались проблемы с головой – случались, хотя и редко, помрачения, а чаще – приступы неконтролируемого страха. Детям тоже досталось – девочка выросла заикой, а мальчик до отроческих лет ночами ходил под себя.

* * *

Галина Викторовна в конце концов сдалась, на поездку согласилась, да и то уступила не дочери, Нинке. Та расстаралась, привозила альбомы, купила путеводителей, засадила смотреть «Мимино», «Хануму», вздыхала над грустными персонажами Иоселиани. Короче, живописала, раскрашивала и вовсю эксплуатировала присущее Аниной матери чувство прекрасного. Однако чем ближе был отъезд, тем мрачнее Галина Викторовна становилась.

Бобе Аня написала еще из Питера, и он обещал организовать для них экскурсионную программу. В тот первый раз у них ничего толком не получилось. Ни любви, ни расставания.

Галина Викторовна все дорогу была серьезна и неразговорчива, да и Нинка особенной ласковостью к сопровождающим их гидам не отличалась. Боба вел себя отстраненно, в праздные разговоры

не вступал, к Ане близко не подходил, даже взгляды ее не ловил, то ли почувствовал молчаливое отторжение со стороны матери, то ли девушка ему за месяцы разлуки разонравилась. От этой мысли Ане становилось не по себе, и даже в такую жару знобило. Как говорится, ожидание и неизвестность – самые изощренные ментальные убийцы.

Им удалось остаться наедине только однажды, за пару дней до отлета в Питер. В то утро Нинка уговорила Галину Викторовну сходить с ней по-быстрому на рынок за молоком и пахучим имеретинским сыром (Аня еще принимала душ и была к вылазке не готова). Боба и Лаша должны были заехать за ними на арендованную квартиру только через час, так что Галина Викторовна особенно не волновалась.

Но он появился раньше. В дверях стоял смущающийся Боба и протягивал Ане пакет.

– Доброе вам. Вот. Купили по дороге. Тут фрукты, мацун и свежий хлеб. К завтраку, – пробормотал он, медленно покрываясь краской.

– Спасибо. Мама с Ниной как раз пошли на рынок. Проходи.

– Ты одна?

– Ну да. Я же говорю. Пройдешь?

– Наверно, не стоит.

Но он вошел. Эти полчаса решили для Ани все. Все время, пока Боба пил наскоро намешанный, переслащенный кофе, он, не отрываясь, смотрел на нее своими огромными глазами. Точно старался запомнить каждую мельчайшую частичку ее лица. В этом полном отчаяния взгляде Аня увидела то, что волновало ее с самого приезда сюда. Он ее ждал.

Они почти не говорили. Несколько слов о погоде («Дождя сегодня, скорее всего, не будет, но зонты надо бы взять». – «А у нас дождевики с собой»), о сегодняшнем маршруте («До Вардзии ехать долго, но мы с остановками, вы не устанете, не беспокойтесь». – «Мы – женщины выносливые»), о местном рынке («Там можно пропасть на целый день, как в музее». – «Мама очень пунктуальна, скоро уже вернутся»).

И только когда она отвернулась помыть и вытереть чашки, Боба наконец еле слышно выдохнул: «Ты такая красивая, Аня. Я так ждал тебя. Я так рад». Аня улыбнулась и так же тихо ответила: «Я приеду еще. Обязательно приеду. И я... тоже ждала».

Первое совместное путешествие закончилось слишком быстро. Им повезло побыть наедине еще пару раз. Эти минуты (один раз даже полчаса) они все больше молчали, жадно смотрели друг на друга, наслаждаясь и фантазируя. Их окутывала вовсе не обычная, безудержная, плотская страсть. Оба, слов-

И он, и она понимали, что всем вокруг них будет больно. Как ни крути, как ни готовься. С одной стороны, схороненная, тихая ненависть к «развратному» народу-воителю, с другой – настойчивое, почти маниакальное желание женить, но на своей, исконной, исторически предназначенной женщине.

но послушные старшекласники, которым родители запретили держаться за руки, а они еще и не умели ничего большего, переживали минуты душевного единения и необъяснимого, распирающего счастья.

И он, и она понимали, что всем вокруг них будет больно. Как ни крути, как ни готовься. С одной стороны, схороненная, тихая ненависть к «развратному» народу-воителю, с другой – настойчивое, почти маниакальное желание женить, но на своей, исконной, исторически предназначенной женщине. «Чужую кровь не приводи. Или своя, или никакая», – настаивала на своем Бобина мать, зная, что в своих летних похождениях сын много и тесно общается с туристами женского пола.

– И что тебе твой исконный дал, кроме слез? – однажды зло ужалил Боба.

– Тебя, дэ! Спасибо Пресвятой Богородице, – спокойно ответствовала мать.

К концу поездки в своих молчаливых диалогах и Аня, и Боба уже дали обеты. Запретный плод зрел и наливался сладостью. Все чаще она облизывала губы, скользя по полукружью едва оголяющей его шею футболки, а он покрывался испариной, когда она наклонялась, чтобы завязать болтающиеся шнурки кроссовок. Случалось, Галина Викторовна останавливала взгляд на своей юной, безо всякой причины счастливо и горделиво улыбающейся доче-

ри. Эта улыбка отчего-то тревожила ее. Однажды она перехватила взгляд Бобы. Боже милостивый, да они!..

Раздувать скандал Галина Викторовна не стала. Полторы тысячи километров – это вам не шутки. Такое расстояние убивает не только плотские желания, но и, в конце концов, самые крепкие чувства. Поживем – увидим. Галина Викторовна про себя решила только одно – в Грузию они больше ни ногой.

В аэропорту, прощаясь с Бобой и Лашей, Аня едва держалась. Они все по очереди легко, по-дружески обнялись.

«Я приеду, как только смогу и буду писать, звонить, только отвечай, не пропадай, слышишь?» – прошептал Боба.

«Я сама к тебе приеду. Скоро. Одна. Чего бы мне это ни стоило», – Аня чуть коснулась губами его мягкой, ягодно пахнувшей мочки.

– Анька, пошли, опоздаем. Спасибо всем за компанию! Отличное вышло путешествие! – громко разрядила обстановку Нинка и потянула подругу за руку, подловив сверлящий и недобрый взгляд нетерпеливо топтавшейся в стороне Галины Викторовны.

– Будем рады видеть вас снова, калбатано Галина, и вы, Ання и Ниння, приезжайте еще! – уважительно поклонился галантный Лаша. Девушек по именам он звал мягко и как бы нараспев, удваивая и смакуя согласную.

Уже стоя наверху эскалатора, Аня обернулась и, сама от себя не ожидая, прошептала заветное признание, глядя на уменьшающуюся, машущую ей снизу фигурку Бобы. Понял ли? Он прищурился, кивнул и приложил руку к сердцу. Теперь она точно знала, что влюблена, что это взаимно, серьезно и навсегда.

* * *

Был и второй раз. Осенью. Анне удалось выбрать в Грузию одной. Для Галины Викторовны заблаговременно была куплена путевка в санаторий на берегу Финского залива. Все то время мать ни разу не вспомнила ненавистную страну, будто и не было этого отпуска. У Ани однажды по неосторожности вырвалось что-то нежно-томное о голубоглазom гиде, но Галина Викторовна так зыркнула на дочь, что Аня слова проглотила и тут же перевела разговор на сравнение галечных пляжей Турции и Грузии. Разумеется, не в пользу последних.

Октябрь, обычно бархатный и богатый на цвета, в том году выдался мокрым и унылым. С гор спустились пенистые тучи и подолгу висели над городом, то разряжаясь быстрыми ливнями, то высыпая

На тросах замершей канатной дороги стайками собирались голуби, сойки и воробьи. Тоже мокрые, нахохлившиеся и безголо-ые. Казалось, природа застыла, притаилась, но птичье царство клювом чуюло – ветер скоро переменится и в город придет настоящая зима.

бездвижен, уныл. В безлюдном центре в сумеречных лужах отражалась скромная по нынешним временам иллюминация, а на окраинах, как обычно после семи вечера окунавшихся в полный мрак, даже в новогодние эти вечера разливалась баюкающая тишина и дремота.

Город намок, нахохлился и притих. В бесснежном нынче ботаническом саду молча плакали серебристые лиственницы, покачивались почерневшие от влаги зубья-кипарисы да неустанно горланило голодное воронье. На тросах замершей канатной дороги стайками собирались голуби, сойки и воробьи. Тоже мокрые, нахохлившиеся и безголо-ые. Казалось, природа застыла, притаилась, но птичье царство клювом чуюло – ветер скоро переменится и в город придет настоящая зима.

Веточки собирались трудно. Пришлось-таки подстраивать гнездо. Там уже был кое-какой настил, не свежий, мерклый – жухлые палочки с прошлого года, жесткие и редкие, – для нового выводка не хватило бы. Она таскала их понемногу. Одну, две за раз. Больше не получалось. Узко. Темно. Противилась с трудом, шелестела, задевая коготками и крыльями внутреннюю обшивку. Укладывала аккуратно, в шахматном порядке, чтобы притушить свет, но не перекрыть тепло, слабо идущее снизу. Тепло ведь – главное в их гнездовье.

Птенцов она ждала скоро, два крапленых яичка уже наготове, следующие – на подходе. Пришла пора

насиживать, покрывать. Трепыхалась уже плоть и страшно мучила жажда. Приноровилась наконец. Успокоилась. Обмякла. С пуза шел жар. Терпкий, колющий и надоедливый.

* * *

Каникулы проходили спокойно, без огонька, без обычного принятого у грузинского народа веселья. Тбилиси ложился рано, в домах пили и закусывали, но без прежнего уличного размаха и звенящего на все лады всеобщего застолья. Расходы на коммуналку с января опять выросли, цены на топливо поползли туда же, вверх. Который уже год. В семьях по-прежнему подавали пряное сациви, толстые душистые хачапури, ароматные надуги в листовом сулугуни с зернышками граната и мягкие, пахнущие пережаренными семечками гозинаки. Но гостей звали все реже, да и обходились одним-двумя днями. Звонили, поздравляли, но за порог, тем более далеко, не выезжали. Конечно, так было не у всех. Но у Бобы, Лаши и Весо было именно так. Друзья свиделись второго января и разлетелись кто куда, по своим делам. Весо и Лаша остались в городе, а друга из виду потеряли. У кого в праздники забот не хватает? Семья, полная, неполная, остатняя – все одно внимания требует.

Аня прилетела третьего января, накануне громко и дерзко поругавшись с матерью. Галина Викторовна не хотела верить, отпускать, буйствовала, словно чувствовала что. Докатилась до «ты мне больше не дочь» и «можешь домой не возвращаться». Как же она потом себя корила, жить не хотелось. Аня проревела всю ночь, а на рассвете тихо уехала, оставив на кухонном столе записку с ничего не выражающим словом «Прости».

В Тбилиси Аня прилетела поздним вечером, а днем того же дня Бобина мать уехала к тетке, даже не подозревая о приезде девушки. После долго гадали. Отчего Бобе понадобилось скрывать? Почему промолчал? Что он хотел утаить, если нынешней весной, всего-то два месяца спустя, намечалась самая настоящая, взаправдашняя свадьба? Первым делом он должен был поговорить с матерью, выдохнуть этот разговор, устоять, упросить. Но он отчего-то не стал. Только близких друзей предупредил, да и то, чтобы в этот раз никто не настырничал и не названивал понапрасну.

Встретив Аню в аэропорту, Боба сразу же повез ее к себе. До этого она в его доме была один раз, заезжала вместе с туристами оставить снаряжение, но в тот день ждала со всеми на переднем дворе,

внутри не заходила. В прошлые наезды встречались они в чужих домах, которые загодя втайне от матери снимал Боба. Аня все понимала: боялся он материнского слова и бежал от материнских же слез. Так же, как и она.

- Почему сейчас к тебе?
- Мать уехала. Неделю у тетки поживет.
- Не хорошо это как-то, Боба. Ты не сказал ей про меня?
- Аннэ, – так однажды Лаша назвал ее, и имя прихлосось, – не бери в голову. Ты не думай, она у меня хорошая, добрая. Только уставшая от жизни. Сердечница. Еще увидитесь, а может, попрошу ее пораньше вернуться. Поговорим все вместе. А ты? Ты своей сказала?
- Поругалась я с ней. Очень нехорошо поругалась. Заладила одно: «Только через мой труп, подожди, пока я помру, ты мне не дочь». Ну вот что это такое? Я все понимаю. Брат, подруга... жаль их, конечно! Но когда это было-то и ты тут при чем?

- Не спеши, Аннэ. Такое горе так просто из сердца не уходит. У нас вообще за такое, например, в Хевсурети кровную месть устраивали. Помнишь, я рассказывал? Не торопи ее. Я на коленях просить буду. Приеду в феврале и буду просить, пока не согласится. Но заявление сейчас подадим. А свадьбу в Сигнахи устроим. В апреле. Эх, Аннэ... Мы с тобой как Ромео и Джульетта, только постарше и повлюбленнее. И конец у нас будет другим, счастливым!

Боба ласково потрепал ее челку: «Пойду баню запущу. Давай-ка побыстрее смоем всю нашу печаль. Душа требует... любви!»

Аня тогда подумала, что нет женщины счастливее ее.

* * *

Что-то случилось. Было не просто тепло, нестерпимо жарко. Жар шел снизу, стенки оцинкованной трубы накалились, коснуться невозможно, не то что взлететь.

Она почувствовала неладное слишком поздно. Поваяло жженым сеном, весенним полуденным солнцем, подпаленной травой и чем-то новым, неопознанным, напоминающим лето и первоцвет. Точно солнце пригрело сверх меры и растопило цветочные поляны. «Не сейчас, еще не время», – подумала птаха, но ее жизнь была столь хрупка, а ветродуй столь хлесток, что ударило тепло наотмашь по ее птичьим мозгам и заворожило ее всего на какие-то

доли секунды. Жар и сладость подобрались тут же, забили ноздри, и показалось ей, что парит она в летнем, безудержном небе, спешит, несет добычу. Наверху – ни облачка, солнышко стоит высоко, греет на полную, а внизу проносятся поля, просеки, орешник, лощины, полные всякой живности. Упрятанное, недоступное кошкам, вороновым и куницам гнездо, там, за речкой, в зеленой дубраве, совсем уж близко, и слышатся ей писклявые голоса еще не оперившихся деток: «Фью-фью-фьюить!» Ключики открыты, глазки слеплены, бледные косточки просвечивают сквозь голубоватую кожуцу. И червяк – жирный, длинный, весь в перепонках, извивается у нее в клюве. Предчувствует скорую гибель. Кабы только на всех хватило... Сыто, тепло, птенцы растут, крепнут и вскорости покинут этот микромамкин-мир. Забудут. Память у пернатых короткая. Такое вот птичье счастье...

* * *

Звонок раздался за полночь. Лаша вскочил с кровати, больно двинув локтем в бок сопящую рядом жену. Та сквозь сон выругалась и снова отключилась.

- Лашенька, милый, прости, родной. Приезжай к нам. Неладно тут. Дверь заперта изнутри. Открыть сама не могу. Что-то не так. Свет везде горит, и в комнатах, и в бане. Либо кто-то пробрался, либо Боба крепко спит. Но свет-то горит... Да и чуткий он во сне. Беда, Лаша, ой, беда!
- Звонили ему?
- А как же. Как с поезда сошла, там же и набрала. Уже раз двадцать. Гудки идут, а не отвечает. Боязно мне...
- Что ж вы раньше-то мне не позвонили? Где вы теперь?
- Ждала, ждала ведь. Тут, подле двери, во дворе сижу. Вдруг Бобочка выйдет или ответит. Что ж я всех будить буду? Но вот пришлось... Прости уж старуху.
- Ждите. Выезжаю.

Лаша с минуту прикидывал, что делать дальше – будить Весо сейчас или пока что справиться собственными силами. Уже сидя в машине, включив обогрев на полную и несясь по пустынным улицам, не обращая внимания на светофоры, вспомнил события последних дней и все, что знал от Бобы. Он должен быть с Аней, у него дома, телефон отключают оба, на связь выходят в одно и то же время – около одиннадцати вечера. Последние дни оба жаловались на головную боль. Боба еще сказал, что

надо бы в аптеку сгонять. Но что ж, бывает. От вина, любви и добровольного затворничества. Мать они не ждали. Или ждали? Может, поэтому съехали куда? Тогда свет зачем оставили? Знать бы, что в голове у этого безумца. Совсем умом повредился. Что еще? Сегодня, то есть уже вчера, так и не созвонились. Не до того было. Сейчас телефоны у обоих включены, звонки есть, но трубку не берут. Не слышат? Заняты, понятное дело. Хотя что ж тут понятного?

– Весо, друг, прости, что разбудил. Дело – дрянь. К Бобу срочно надо. То ли воры, то ли что другое. Мать его только что звонила. Вернулась из деревни, свет горит, а никто не открывает. Сидит, кукует там. Приезжай, помощь нужна. Инструмент захвати, а то у меня все у свата осталось.

Приехали они почти одновременно, с разницей в пару минут. Мать Бобы сидела на приступочке около входа. Маленький, почти незаметный в ночном сумраке комок. Дышит тяжело, всхлипывает.

– Ну-ну, что вы, не надо. – Лаша легонько похлопал по ее детскому подрагивающему плечу. – Сейчас разберемся. Свет не выключил, дурак. Или выпил лишнего. Дрыхнет, поди, – и уже в сторону, сам себе: «Точно прибью!»

– Понимаешь, Лашенька, я звонила, звонила. И вчера, и сегодня. Не отвечает. Вторые сутки молчит. Если б выпил... господи прости, то и ладно бы. Знать бы только... Матери ведь молчит, ирод. Всегда отвечал, а тут молчит.

– Разберемся. Погодите здесь. Весо отмычки привез. Мы быстро. Только потом не журить, чур. Замки починим, но только уже завтра. Ждите тут, я позову.

Бедная женщина только кивнула и снова сжалась в клубок.

Лаша старался говорить громко и бодро, но внутри копошилось, ежилось что-то едкое, страшное. Свербило, тискало, душило. Мать пускать внутрь пока нельзя. Она об Ане не знала, значит, к каким-то вещам может быть не готова. Не дай бог чего увидит. Затянул Боба со знакомством. Ой, затянул.

Дверь не поддавалась. Свет струился из щелей, внутри – тишина, слабо, но пахло чем-то сладким и вьедливым, щекотало ноздри. Похоже на аммиак.

Через полчаса стало ясно, что железную преграду им не одолеть. Хоть это сделал на славу. Надо спасателям звонить. И так уже всех вокруг перебудили.

Сбоку в темноте юркнула тень. Лаша даже ойкнул от неожиданности, сглотнул, – прямо перед ними, из ниоткуда возник пацан. Соседский сынок, двенадцати лет, но махонький, на дошкольника похож.

К вешей досаде отца – не вырастет никак, шуплый, тощий, тонкокостный. «Недокормыш».

– Я могу в окно пролезть. Вон в то, на чердаке.

Только подсобите мне. Изнутри дверь и открою. Там же шоколада крепкая и дверь вон железная.

– Ты откуда тут? Почему не спишь?

– Так гремите ведь. Я из окна все видел. Батяня велел разузнать. Могу помочь. Однажды уже подсобил. Боба не рассказывал, нет?

Мужчины переглянулись, надо ли, но нехотя, все же сцепили руки в ступеньку.

Мальчишка справился за считанные минуты. Минуты, которые еще давали надежду. Но и она быстро сошла на нет, как только дверь в предбанник с грохотом распахнулась. Пропажа нашлась – на полу в душевой друг на друге крест-накрест лежали Аня и Боба, голые, бледно-голубые, в испарине, уже бездыханные.

Лаша даже сквозь наброшенное на голову, обмотанное кругом мокрое полотенце почувствовал, как задыхается. Сердце усиленно перекачивало кровь и отзывалось в кончиках пальцев.

Окна! Надо распахнуть все окна!

«Весо, гази обогреватель! Скорее!»

Весо, прикрывая нос и рот шарфом, застыл на месте. Лаша чертыхнулся, двинул другу под ребра, стараясь не смотреть вниз, перешагнул через тела и кинулся к законопаченному на зиму крошечному окну, упирающемуся в стену кирпичной пристройки на заднем дворе. Не вышло. Скользкий шпингалет, как назло, намертво прилип к раме. Лаша обмотал кулак лежащей тут же мочалкой, подтянулся и что есть силы ударил. Глухо раздался звон упавшего на бетон стекла, и следом взметнулся испуганный крик Бобиной матери. Зато Весо очухался.

Только спустя минуту, когда внутрь вихрем ворвался морозный воздух и можно было вздохнуть, друзья посмотрели друг на друга. Отразились, как в зеркале. В другое время посмеялись бы. Два шахида. Бледные полосы лбов, мутные, вопрошающие глаза. Слезы то ли от гари, то ли от горя.

«Что делать-то?»

«Скорую вызвать. И полицию».

«Они?..»

«Да. Уже все...»

Аня лежала на спине, руки вдоль тела, лицом вверх, сомкнув веки, будто спала. Боба – сверху, голова повернута набок, но глаза приоткрыты, одной рукой обнимает девушку за шею, другая упирается в коленку. Точно прикрыть ее хочет. На лицах – умиротворенное блаженство. Казалось, оба улыбаются. Хотя нет, лицо Бобы было все-таки

Он и не заметил, как с рассеченной ладони на белый кафель капает кровь. Боли он не чувствовал. Хотелось бы, чтобы все это оказалось сном. Все вокруг походило на невыносимую постановку, все представлялось не настоящим, словно развороченные декорации в дурной пьесе.

другим – в нем читались беспокойство и какое-то детское удивление.

Весю уже гремел рамами в соседней комнате, а Лаша все никак не мог пошевелиться. Принятое вечером вино с курицей просились наружу. Смотреть вниз было страшно. Даже не страшно, а неловко, неудобно, стыдно. Конечно, он не раз видел друга голым, переодевались, парились, даже, помнится, сравнивали ширину плеч, красоту икроножных мышц. Как юнцы, считали кубики на животах. Да и Аню все они видели в купальнике на море: одобрительный присвист, свирепый взгляд Бобы. Но сейчас, здесь, эта неживая нагота шокировала, заставляла отводить взгляд и краснеть. Слово подростком подсмотрел за родителями в замочную скважину. Черт! Что за мысли!

Лаша схватил с вешалки халат и аккуратно, отводя взгляд, накрыл слепленные тела.

Он и не заметил, как с рассеченной ладони на белый кафель капает кровь. Боли он не чувствовал. Хотелось бы, чтобы все это оказалось сном. Все вокруг походило на невыносимую постановку, все представлялось не настоящим, словно развороченные декорации в дурной пьесе. Казалось, Аня и Боба только что были вместе, шутили, смеялись, согревали друг друга. И вот лежат: безмолвно, бесстыдно обнаженные, неразделимые грешники, налюбившиеся, возрадовавшиеся перед тем, как их изгнали из

рая. Лежат, прости господи, будто вылеплены из воска, в недвусмысленной, не характерной для упокоения позе. Мертвы? И все равно благословенны в своем единении. Как дети. Как тайные любовники. Как одухотворенный лик Ацкурской Божией Матери. Жизнь уже выветрилась, а они выглядят все одно – счастье в высшей своей ипостаси.

Так размышлял Лаша, отодвигая задвижку входной двери, освобождаясь одной рукой от полотенца, другой набирая нужный номер. Сбитый, колющий воздух медленно выползал на улицу. Мать! Нельзя ей сюда! Весю, уведи ее! Не сюда, не в дом, в мою машину посади. Очнись, кацо, не до слез сейчас, потом погорюем.

* * *

Аню и Бобу вернули домой через два дня, положили рядом, в большой зале. Плаксивать, прощаться, готовиться. На стульях возле детей тенью сидят постаревшие, пригвожденные общим горем матери. Сидят молча, смотрят себе под ноги, теребят платки, промокают слезы. Аню Галина Викторовна увезет домой. Самолетом, завтра. Разлучат их с Бобой.

Свечи по углам мечутся на ветру. Сквозит. Форточки нараспашку. Оклады икон перемигиваются в углу. Мать Божья, как всегда, смиренна. Святая Варвара, хоть и в печали, глядит строго, укоризненно. Третий лик, блаженный Георгий, полон света, горюет, утешает: «Ныне отпускаеши...» За стеной попеременно верещат Бобины родственницы, на кухне гремит посудой заплаканная Нинка. За окном стонет переметнувшийся с моря северный ветер. Еще вчера выпал снег, уже и сугробы намело.

Лаша и Весю молча курят на крыльце.

Рок? Судьба? Наказание? Или провидение? Тело друга, накрывшее любимую, без пяти минут жену, все еще стоит перед глазами. И будет сниться им до самого конца.

* * *

Баня затоплена блеклым, мутноватым светом. Запах вытопленного ароматного воска, терпкого винограда и ядерных орешков. Предбанник с резным диванчиком ручной, Бобиной работы, на котором внавалку валяются футболки, джинсы, носки. Тут же девичье, скинутое наспех или сдернутое в порыве страсти белье. Отсыревшее, потерявшее цвет, – дорогие кружева. Только что они любили друг друга: там, где лежат отключенные, безответные телефоны; там, где стоят недопитые бокалы с побродив-

шим, тронутым золотистой пленкой вином, там, где, скукожились, высохли и запотели фрукты, растекаясь на серебристой фольге шоколад; там, где теперь навсегда поселились запахи смерти. Кадмова победа.

Боба только что вымылся, Аня пошла следом. Выпорхнул пар. Громыкнула дверь. Заскрежетала, зажурчала вода.

Девушка зовет на помощь. Она – в ловушке. Горло полыхает, руки трясутся. Пытается дотянуться до замка. Сделать шаг. Закричать. Звуки извлекаются все труднее. Зовет она слабо: Боба еле уловил, все думал, поет (радио и сейчас наигрывает что-то нежное, томное, акустическое). Он сразу и не понял, так громко хлестала вода и воздух был полон дури. А когда понял, рванулся к ней. Дверь заперта. Заперта! Она все еще скромничала, когда принимала душ. Дурочка! Боба пытается открыть, вскрыть, взломать. Под рукой ничего. Бежать за инструментом нет времени и, главное, сил. Ложкой. Самой обычной столовой ложкой. Не выходит. Не вышло! Неуместный здесь столовый прибор, ложка, скрюченная, порченная, лежит тут же. Рядом со вздыбленной, похолодевшей его ладонью.

Дверь упрямится. Упрямится и Боба. Он вышибает ее плечом (патологоанатом подробно описал тот кровоподтек). Полотенце соскальзывает на пол. Опоздал. В неподвижном тумане, на плиточном, заиндевелом полу лежит Аня, уже не движимая, расхлестанная, красная от натуги, потная и такая легкая. Глаза прикрыты. Едва дышит. Без сознания. Он зовет ее, но кроме первой гласной у него ничего не выходит. Дурь обволакивает, давит на грудь, сжимает ошейником горло. Его время тоже на исходе.

Звать на помощь – не было сил, вытащить любимую – не было сил, даже поцеловать напоследок – не было сил. Он так и упал, потерявши себя, поверх нее, прикрыв белизну зацелованных, маленьких грудей и нежную хрупкость так и не изведывавшего женского счастья живота. Она улыбалась. Улыбался и он. Ласково и по-детски удивленно.

* * *

Птицу из дымохода извлекли на следующий день. Местный, знакомый каждому в округе, мрачноватый участковый долго разглядывал бедовую птаху, потом вздохнул, почесал ручкой за ухом и запротоколировал по-простому: «То ли воробей, то ли синица», а вслух разрешил: «Все ясно. Хороните».

Лаша вдруг вспомнил, как Боба пару месяцев назад выговаривал ему за неисправный котел на даче. Теплый, сентябрьский, округлившийся день. Хрип-

лый баритон Челентано. За забором блеет под «Сюзанну» соседская коза. Они тогда обмывали крупную сделку, строили планы, пили, шумели. В куче песка возились Лашины погодки, на кухне смеялись о своем женщины. В коляске на веранде, соревнуясь с итальянцем и музыкальной живностью, заходила в крике Луиза, последняя из трех дочерей Весо. Боба тогда нежно и как никогда осмысленно смотрел на чужих детей, своих крестников. Наверное, уже думал о своих... А еще через полчаса, оседлав крышу и смешно выводя «На Кавказе есть гора...», прочищал дымоход.

Сам он всегда следил за безопасностью у друзей, выговаривал за нарушения, проверял тяговые трубы, осматривал вытяжки, выходы и камины. И сам же, как позже рассказала мать, не менял обогреватель вот уже девять лет. Все некогда было, да и тянуло отлично. Не боялся ведь. А вот чего боялся, так это сквозняков. Боба всегда любил тепло. В доме температура не опускалась ниже двадцати пяти. Всегда закрывал все окна и двери. Хотите воздуха? Идите, кацо, дышите на улицу. В поход, даже летом, – шерстяные носки. Овечьи телогрейки по всем углам развешаны. А перчаток у него было... самый желанный подарок на все праздники.

– Знаешь, – зашептала Лаше на ухо заплаканная жена, – я слышала, как сосед, тот, что мальчишку вам на помощь прислал, рассказывал, что, когда у Бобы умер отец и священник читал над телом молитвы, он обратил внимание на гвалт, который устроили птицы на заднем дворе. Орала, как оглашенные, и все кружили, кружили, кружили. Вон, прямо там, куда выходит эта злосчастная труба. Там и деревьев-то нет. Господи, несчастье какое...

– Тсс, – шикнул Лаша на женщину. – Я видел. Боба умер счастливым.

Затем неловко перекрестился и задрал голову. Там, наверху, в сероватой январской дымке водили хоровод перепуганные истошным, нечеловеческим завыванием плакальщиц птицы.

